

О подлости, о доблести, о славе

Нравственную яму, оставленную после себя Сталиным, впервые стала разгребать песня. Ее не печатали – но тем смелее была летучая рифма. Ее не связывала мысль о цензуре. «Эрика» брала четыре копии и этого хватало. Если брать бумагу потоньше, то получалось и десять копий. А потом песни заучивались наизусть – и держи ветер в поле! Я до сих пор помню некоторые песни Галича, иные – целиком, а в обрывках – десятки. «Эрика берет четыре копии» – это цитата из Галича. Не бойтесь самого ада, но бойтесь того, кто знает, как надо – скомканная цитата из Галича. Песня его лепила и портреты, и целые социальные типы. Иногда трудно сказать, в кого автор метил: стрелы его попадали в тех, кто вылез на политическую авансцену, и попутно – в скромных подонков, довольных тем, что спасли собственную шкуру:

Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду,
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание – золото...

Солженицын обиделся за «человека, который знает, как надо», и причислил к знающим, как надо, Христа. У Галича это из цикла про Сталина. «Человек, знающий, как надо» – это схваченный в четырех словах тип лидера, увлекающего демонический уверенностью в себя. Не только в России. Это также Гитлер, Пол Пот, бен Ладен... Это кумир растерявшихся масс. А их сейчас миллиарды, готовых к любому злу, готовых идти за любой силой, – лишь бы это была сила, способная навести «порядок», остановить хаотические перемены. И каждый вождь, умирая, оставляет за собой свору ничтожеств, ждущих нового Гитлера, нового Сталина, – нового дракона, как описал этот тип Евгений Шварц. Это ожидание дремлет в спокойные времена и кричит в дни кризисов.

Можно описать современных сталинистов, пользуясь образами Гоголя, Достоевского и других старых писателей, заметливых к дремлющему злу. Я это попытался сделать в своем «Квадрильоне» – и был обвинен в русофобии. Удивительно, как этого избежал сам Гоголь, за свои гротескные образы. И даже Коржавин не был пригвожден к позорному столбу за свою «вздорную оду» (так этот жанр назывался в XVIII веке):

Мы сегодня поем тебе славу
И как видно поем не спроста,
Основатель великой державы,
Князь Московский Иван Калита.
Был ты видом довольно противен,
Сердцем подл, – но не в этом суть:
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь...

На этом я оборвал цитату, начиная свой опыт открытого публичного выступления против курса на реабилитацию Сталина. Мне хотелось проверить, возникнет ли цепная реакция, сумеет ли интеллигенция, если она осталась на свете, использовать свои кафедры для ряда подобных речей. Это не получилось. Публичной речью меня поддержал только один человек, Михаил Ильич Ромм. Он пригласил меня к себе домой, и мы провели очень интересный вечер. Ромм увидел во мне представителя молодого, здорового поколения. Это было ошибкой: мне уже исполнилось 47 лет; меня, как и других, ломали, но не доломали, и я попытался перенести в гражданку свой опыт полета над фронтовым страхом. Так или иначе, я был в глазах Михаила Ильича чем-то новым, чего он ждал, – человека, не исковерканного страшным временем. И он каялся передо мной, что не спал ночами, создавая фильм «Ленин в 1918 году», – раздувая истерику террора и боясь, что

его самого посадят. Потом он предложил мне сотрудничество. Я охотно согласился, хотя плохо понимал, как перенести наш единый фронт из двух человек в кино. Но ничего не состоялось: очень скоро Ромм умер. После моей речи 3 декабря 1965 года сотни, тысячи людей прочли ее в самиздате или слушали по «фальшивым голосам», но никто не сумел выступить в таком же роде. Эксперимент показал неспособность гражданского общества к сопротивлению или даже отсутствие гражданского общества. Оставалось заниматься размышлениями, далекими от политики (из них впоследствии сложились мои книги), и только время от времени пополнять самиздат своими репликами, а потом отчитываться о них в прокуратуре.

Эти скромные реплики не прошли мне даром. В 1976 году Андропов наложил запрет на любые мои публикации. Музей-квартира Достоевского оставался единственным местом, где меня один раз в год выпускали на кафедру. Там я прочитал серию докладов, вошедших впоследствии в книгу «Открытость бездне». В 1976 году это был доклад «Дети и детское в мире Достоевского». Причислив к детям Аркадия Долгорукого, я процитировал две реплики из романа «Подросток»: «Я тысячу раз дивился на эту способность человека (и кажется русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и всё совершенно искренне. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет или просто подлость, – вот вопрос». Это реплика Аркадия (ч. III, гл. 3). А вот другая реплика из того же романа, не самого Аркадия, но в разговоре с ним: «Я смотрю на Россию, может быть, с странной точки. Мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж, конечно, потому, что и то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и надо свободу перенести: сумеем ли?» (ч. II, гл. 3). Большого внимания на это никто не обратил.

Я вспомнил старую работу, перечитывая статью Ольги Седаковой: «Нет худа без добра. О некоторых особенностях отношения к злу в русской традиции» («Вторая навигация», Мюнхен, 2006, с. 203-217).

Статья эта и прекрасная, и странная. Она начинается с извинения перед читателем, зачем автор затрагивает свою «пугающую» тему, и просит не относиться к сказанному «как к каким-то категорическим утверждениям» (словно не было Достоевского, который говорил о том же без всяких извинений). Далее читаешь и не можешь понять, зачем эти извинения. Идет академический анализ пословиц и поговорок, русских и английских, о добре и хude... И вдруг, после короткого перехода, о котором мы еще скажем ниже, начинается гневная обвинительная речь против уверток современной подлости. Словно подлость прямо росла из народных поговорок: «Это принципиальное, какое-то настойчивое неотличение зла, упорное настаивание на том, что ничего не следует относить к злу, ни за чем нельзя признать окончательный статус зла... Я осмелюсь назвать эту традицию «дружбой со злом», имеющей как будто некое таинственное, едва ли не религиозное обоснование...» (с. 209).

В противовес уживчивости со злом, доходящей до «дружбы со злом», Ольга Седакова обращается к непосредственному нравственному чувству, мгновенно отбрасывающему то, что ему претит: «Ориентация в добре и зле в принципе моментальна, непосредственна, не рефлексивна... Мы не объясняем себе, почему нам это "нравится", а это "не нравится". Суждения вкуса интуитивны и выносятся со странной уверенностью... Если мы включаем механизм весов, сравнений, выяснений, мы никогда из него уже не выйдем. Начинается сводящее с ума качание маятника, торговля неизвестно с кем: "с одной стороны", "с другой стороны", "с пятидесятой стороны"» (с. 211).

Здесь возможны некоторые уточнения, некоторые коррективы (не нарушающие согласия с основной мыслью автора). В «Преступлении и наказании» сердце Раскольниково раскрывается на островах, в лучах заходящего солнца, и снова замыкается в его каморке, где логика, оставаясь без благодатных впечатлений от Божьего следа в природе, обретает ложное всемогущество. Таким образом, сердце то оживает и произносит свое «вето», то снова обмирает. Шоковый удар

целостного понимания, опрокидывающего логику, не всегда справляется с ней одним ударом. Продолжим, однако, текст Седаковой: «Почему же мы постоянно встречаем это упорное, почти нечеловеческое сопротивление отнесению чего-либо к злу? Почему дурное – и по преимуществу дурное – находит у нас столько добровольных заступников? Вероятно потому, что безусловное отнесение чего-либо к злу обязывает того, кто это делает, к решению, к поступку, к хотя бы мысленному, хотя бы «ханжескому» нет (то есть, я признаю, что это зло, хотя сам я его делаю)»... (с. 211).

Чтобы не запутаться в реально сложных проблемах, Седакова предлагает опереться на «основополагающий ориентир» из комментариев архимандрита Софрония к запискам св. Силуана: «зло действует обманом, но добро в своем осуществлении не нуждается в содействии зла». Последние слова она подчеркивает.

Я думаю, что без помощи зла побеждает след, оставленный в сердцах нравственной красотой. Так можно понять мысль Достоевского (из черновики): «Мир спасет красота Христа». Однако от первого живого следа проходит долгий срок до канонизации его в культуре. И канонизируется только символ нравственной красоты (в нашей культуре – евангельский Христос), а живая нравственная красота остается Золушкой. Так это в «Соборях» Лескова. Так это в судьбе генерала Григоренко – и многих других.

Священник, примкнувший к штрафникам в фильме Достала «Штрафбат», вспоминает канон св. Василия Великого (видимо, очень образованный священник; церковь этот канон забыла); участник войны три года не допускается к причастию. Но защищать отечество и следовательно совершать смертный грех убийства необходимо, к этому призвал св. Сергей Радонежский. Можно вспомнить еще «Бхагават гиту». Кришна советует Арджуне сохранить в душе свободу от ожесточения и ненависти. Тогда и убивая, не убиваешь.

Однако возможно ли сохранить свободу от ожесточения в штыковом бою? Судя по рассказу сержанта Лагутина, поседевшего в штыковых боях под Севастополем, главное там было – переглядеть противника, заставить его опустить глаза, и потом уже колоть в грудь или в живот. Возможно ли это без ожесточения и ненависти?

Существует множество положений, в том числе и в совершенно мирной жизни, когда приходится принимать на себя грех действия, потому что бездействие было бы худшим грехом. Примеры приводил Антоний Сурожский. Во многих случаях безупречного решения, без всякого причинения зла, просто нет. Кто с этим не согласен, пусть посмотрит фильм «Пятая печать».

По учению Антония Сурожского, Божий след пересекает все принципы, все догмы. Христос бичом изгонял торгующих из Храма. Разве это не пересекает его же заповеди?

Абсолютно только превосходство глубокого сердца над выкладками ума и порывами страстей, превосходство сердца Мышкина над логикой Раскольникова и ревностью Рогожина, право вето сердца, вступающего в союз с разумом против чувственной прихоти и с непосредственным чувством против логики, против теории, против принципа, против заповеди. Нарушение иерархии, вершина которой в сердце, – начало хаоса. Добро вообще, отвлеченное добро не безупречно. Подлинное добро всегда конкретно. Об этом хорошо писал Василий Гроссман. Абстрактное добро – призрак, который легко становится оправданием зла. Нет ничего страшнее идеи добра, особенно в руках людей, «знающих, как надо». Ян Гус был сожжен на костре, протопоп Аввакум был сожжен в срубе не во имя зла, но во имя добра, во имя всеобщего святого блага. Раскулачивание проводилось во имя высшего принципа общественной собственности...

В конце концов, Ольга Седакова признает, что «различение добра и зла представляет собой реальную сложность, в степени которой «порядочный», «устойчивый» мир, быть может, не отдает

себе отчета. Но моральный агностицизм не делает никакого усилия, чтобы каким-то образом с этой трудностью справиться. Усилие, которое здесь требуется, – я думаю, не столько интеллектуальное, сколько, если позволительно так сказать, сердечное (эти слова мне хотелось бы подчеркнуть. – Г.П.). Моральная растерянность связана с тем, что ничто по-настоящему не любимо, что любить слишком трудно... Решительные суждения произносятся из любви. Тот, кто говорит решительно: «это плохо, это нельзя!», – как правило, говорит это не из желания «осудить». Как правило, он говорит это потому, что он что-то любит – и чувствует, что то, что он любит, оказывается под угрозой... Человек, ставший в отрешенную, постороннюю происходящему позицию, неизбежно перестает различать зло. Во всяком случае, различать мгновенно, не рассуждая...» (с. 214).

Это, быть может, лучшее место в статье, хотя и оно не безупречно. Евреи любят Иерусалим, христиане любят Иерусалим, арабы любят Иерусалим. Три непосредственных чувства говорят: Иерусалим наш! Надо, по-видимому, различать решение глубокого сердца, которое признает право всех авраамистических религий на общий святой город – и порывы, рожденные на более поверхностных уровнях, порывы, основанные на букве разных преданий, а не на едином духе любви. Здесь Седакова борется с неразрешимой трудностью: как перенести в слово Святой Дух, превосходящий все слова; и я ей сочувствую. Здесь нет никаких словесных формул, исключаяющих возможность зла. Хочется только еще раз повторить, что опыт, подобный шоку, не всегда сразу разрушает стройную теорию, нравственную привычку и т.п. Иногда этот решающий эксперимент сталкивается с очень сильным противодействием и побеждает далеко не сразу, а только начинает борьбу.

Так сразу подействовал не меня обнаженный труп девушки лет 15–16 на задах фермы под Шталлупененом, в 1944 г. Было нетрудно сообразить, что она изнасилована и убита, увы! – нашими. Я в это время служил в батальоне и слился с солдатами и офицерами в чувстве полета над страхом. Гимна чуме офицеры батальона не помнили, но песню про Ермака мы пели вместе, с особым ударением на строку «беспечно спали среди дубравы». Лихая беспечность была нашим общим стилем жизни, это чувство слитности с массой не могло сразу исчезнуть, но чувство единства с армией треснуло и трещина эта расширялась и дошла до пропасти в Берлине, когда армия, пьяная в дым, насильовала всех женщин, попадавших под руку. Стыд от униформы, которую я носил, боролся с гордостью победой: вы в нашу Москву не вошли, а мы ваш Берлин взяли! И доблесть на моих глазах сливалась с подлостью.

Разобраться в этой путанице было нелегко, и внутренний разрыв с массой произошел только года через два, и только в лагере созрело чувство безусловного доверия только некой точке посредине груди, по соседству с сердцем, строго напротив позвоночника. Видимо, там есть какой-то узел, где собирается в фокус огонь целостного познания, прорвавшийся из глубины. Я год за годом учился прислушиваться к своему индикатору правды и строить свою жизнь так, чтобы эта точка не глохла. Хотя первые прорывы из глубины действительно приходили внезапно.

Вот еще один пример. Дивизия походным порядком возвращалась из Германии на родину. Я в это время, после второго ранения, был опять направлен в редакцию, уже лейтенантом. Соблазнили меня тем, что коллеги-офицеры там все с высшим образованием; так оно и оказалось. Проезжая мимо Треблинки, мы все заехали туда. Мы всё про нее знали. Читали статьи Гроссмана. Но я увидел слипшуюся массу детской обуви, заполнившую один из барачков, и во мне что-то перевернулось.

До того Холокост был чужой судьбой. Наша армейская судьба – риск остаться обрубком – без рук, без ног, без глаз – и ждать смерти как избавительницы. Судьба жертв Холокоста – сразу умереть. Но в бараке лежала детская обувь. В сознательном, организованном истреблении детей было что-то выходявшее за рамки банального зла войны. Карамазовский вопрос о судьбе ребенка сразу умножился в полтора миллиона раз. Даже самое страшное, что я видел на войне померкло.

Самым страшным было поле смрада к северо-западу от Сталинграда, между балкой Широкой и балкой Тонкой, в августе–сентябре 1942 г. После первого ранения, прикомандированный к редакции, я проходил каждый вечер через поле смрада и несколько раз натыкался на недохороненные руки и ноги. Хоронить как следует некому было и некогда. Выполняя свою жуткую и нелепую в этих условиях обязанность внештатного журналиста, я брел по открытой братской могиле за материалом о подвигах, о роли коммунистов и т.п.

Впоследствии, когда начались победы, людям интересно было рассказывать о себе, а потом вырезать мои заметки и отсылать домой. Кроме того, я усердно вел отдел «из боевого опыта» и т.п. Я стал своим человеком в каждом батальоне, в каждой батарее – но это было потом. А пока я, в полуразбитых очках, похожий на чучело, кое-как добирался до балки Тонкой, в которой лепились штабы полков, и полковые политработники говорили мне что-то казенное... Насколько лучше было бы оказаться санитаром! Но переменить судьбу самому было невозможно.

Переменил ее Гитлер. Он заставил элитные части грызть развалины Сталинграда, а на безопасные участки поставил румын. Когда наступление остановилось на Волге, растянутый фронт немцев стал Ахиллесом, у которого пятка всюду, и по пяткам ударили наскоро сколоченные танковые соединения. Пехотных огрызков с пира смерти хватило, чтобы брать в плен румын, оглушенных артподготовкой. Нога моя к ноябрю вошла в строй, и я зашагал вместе с армией от победы к победе. Но страшное воспоминание о поле смрада до сих пор лежит на дне моего сознания, и я не знаю, что страшнее. Прочитал «Ночь» Эли Визеля – и вспоминаю детскую обувь в Трехлинке, посмотрел фильм Досталы «Штрафбат» – и чувствую запах гниющего пушечного мяса. Я думаю, что стрелки весов в наших оценках событий не могут не колебаться. Важно только, где они колеблются – в сердце или в уме, безразличном к добру и злу.

Вернемся, однако, к статье Седаковой, к абзацу, который замыкает ее обвинительную речь против уверток подлости:

«Второй род особо дружественного отношения к злу еще страшнее. Это не неразличение, не попустительство злу, не моральная неразборчивость, а что-то более серьезное – и еще более “восточное”. Я имею в виду едва ли не прямое почитание зла (в форме беспощадного насилия), готовность добровольно приносить ему в жертву деточек, как Тараканищу Чуковского, кормить его, как Кошечку в чулане, и ублажать, как Дракошу Евгения Шварца. Здесь мы видим не просто запуганность злом, как в первом случае («лучше не дразнить собак»), но какое-то теплое припадание к нему – как к несомненной реальности (все другое представляется не иначе как миражом, иллюзией), как к защите и покровительству. Мы свидетели того, как в наши дни создаются культы Сталина, Берии и других монстров, причем всегда религиозно, мистически, “православно” окрашенные, из исторической дали им отвечает образ Ивана Грозного, которого народные песни именуют “надёжа православный царь”» (с. 214-215).

Последняя фраза перекликается с одной из первых, об открытом вопросе, где кончается традиционная подлость и начинается подлость советская. Ничего больше – о веках истории между фольклором восточных славян – и травлей Пастернака на собрании советских писателей в 1958 году. Почему история вынесена за скобки? Но в истории ли «пугающее», о котором говорится во вступлении к статье? Или дело в том, что метод, блестяще приложенный к анализу современного нравственного упадка, не годится, как инструмент историка? Вторая гипотеза интереснее, и я попытаюсь ее развить. Статья распадается на два раздела серьезного анализа и довольно несерьезной связки между ними. Академически серьезно рассматривается фольклор, а затем страстно, трагически серьезно современность. Фольклор традиционно исследуется вне развития. Современность тоже допускает рассмотрение одним куском, игнорируя мелкие сдвиги внутри эпохи. Так мы говорим: век Петра, век Екатерины; можно сказать «век Сталина и Берии»... Объект рассматривается как неподвижный пласт и членится логически: первый аспект, второй аспект... А история текуча, история выскальзывает из рук... Приходится на свой страх и риск

высвечивать одно и оставлять в тени другое – как Рембрандт в своем «Возвращении блудного сына», бросая луч света на пятки опустившегося бродяги и оставляя в тени лица порядочных свидетелей... Но Рембрандт – гений, у него это каким-то образом вело к истине. А нам что делать?

Я столкнулся с этой проблемой в 1962 году. Мне хотелось дать сдачи Хрущеву за его выходки в разговоре с поэтами и художниками. Но где взять образы для памфлета? И я обратился к Гоголю. Потом за Хрущевым встала тень Сталина, от которого Хрущев отталкивался, и понадобилось еще круче отделить Сталина. Нашелся и тут подходящий образ — Смердяков, перешедший из лакейской в хозяйские покои и заставляющий Ивана Карамазова ползать по полу, разбирая рассыпанные бумажки (подлинный эпизод в этом роде произошел у Вышинского с каким-то профессором).

Работа затянулась, и выпустил я ее из рук в 1964 году. Лет через пять мне сказали, что есть статья Бердяева «Духи русской революции», написанная тем же приемом. Еще лет через 10 я наконец прочел этот текст, ходивший по рукам, и сам поразился сходству. Различия тоже интересны. У меня нет Хлестакова, у Бердяева – Скалозуба. Эти изменения только подтверждали верность художественно-исторической интуиции: Хлестаков еще в 30-е годы стушевался, а Скалозуб в 1918 г. воевал на стороне белых. Эксперимент показал, что революция перетасовала многие старые карты. Отброшены были обитатели дворянских гнезд, но рыла из трущоб, из подворотен остались, всплыли наверх и даже терпят, как специалиста, профессора Преображенского. Г.П.Федотов описал это как ликвидацию Петербургского слоя культуры и выход на авансцену старомосковского (во главе с Малютой Скуратовым?).

Мы к этой проблеме еще вернемся, а пока заметим, что Ольга Седакова пошла по другому пути, заменив сотни лет истории несколькими общими фразами. Одна из этих фраз – о Западе и Востоке. Но что такое Запад? Это две генетически связанные конкретные цивилизации (на языке Шпенглера – два культурных круга, греко-римский и европейско-американский), отмеченные печатью римского права. *Dura lex, sed lex*. Закон жесток, но это закон. Такова же и мораль Нового времени, “узкая”, беспощадная к падшим. А в России закон – что дышло, куда повернешь, туда и вышло. В прорехах закона остается место для царской милости и народного милосердия; а также для русского бунта, бессмысленного и беспощадного.

Что же такое Восток? Это целых четыре конкретные цивилизации, каждая сама по себе: воинственный ислам и созерцательный Тибет; Индия, с господством жречества и кастовым строем, с острым чувством вечности и без ожидания чего-то лучшего от истории, без самого интереса к истории и без требования социальной справедливости; ибо справедливость воздаст Карма. Индии противостоит Китай, где конфуцианская образованность правит невежественным народом, но у крестьянского сына есть возможность (правда, редкая) стать императором в ходе успешного восстания против коррупции старой династии, формируя новую, честную администрацию за счет образованных людей, не получивших должности при старом режиме. А сын узурпатора обязан стать меценатом и поддерживать новые направления в искусстве, «чтобы придать династии блеск».

Общее у всех конкретных цивилизаций то, что каждая из них – и западные, и восточные – это замкнутый круг с общими святынями, общими путями духовного развития и общими, прочно сложившимися нормами поведения. На востоке нет римского права и гарантии прав гражданина, но есть другие формы хранения и передачи культуры, всплывающей после всех передряг и подчиняющей варваров себе.

А Россия? Это страна, формирующаяся на перекрестке, последовательно испытывавшая влияния Византии, Китая (податная система – через монголов), влияния жестокости мусульманской государственности и западного культа свободы. Это неустойчивый симбиоз византийского чина,

казацкой воли и татарского кнута. Это вечная незавершенность, вдохновляющая гениев искать неведомо широкого завершения, и очень трудная для формирования россиян, ищущих всего лишь личной завершенности. Об этом замечательно писал Достоевский в «Игроке», Синявский в «Голосе из хора», я их несколько раз цитировал и не хочу повторяться. Во всяком случае, структурную незавершенность России, порождающую то чрезмерную открытость, то судорожную закрытость, надо постоянно иметь в виду. В итоге, как сказал Леонтьев, «В России легче встретить святого, чем элементарно порядочного человека».

Ольга Сedaкова надеется, что одинокий подвиг св. Силуана может уравновесить избыток русской «широты» (которую она называет, в терминах Розанова, темным ликом в противоположность светлomu). Мне кажется, что это натяжка. Св. Силуан молился по-афонски, за все народы. Как и все подлинные святые, он выходит за пределы «народного», «национального». Отцов церкви обычно делят на две большие группы (по цивилизациям, а не по странам): восточную и западную. Св. Силуан, по уровню своей глубины, кажется мне не ниже св. Исаака Сирина. Зачем же его привлекать как противовес Рогожина?

Лучше уж вспомнить Достоевского. Смит не прощает своей дочери, Ихменев прощает Наташу. Князь Мышкин, в швейцарский период своей жизни, убеждает «узких» мальчиков (по Щедрина – «мальчиков в штанах») не травить Мари. А в конце романа он пытается быть милостивым и к убийце около тела убитой Настасьи Филипповны; но разум его не выдерживает этого испытания и угасает. Наконец, самое полное воплощение русская широта находит в Мите Карамазове, с его крутыми переходами от низости, с которой он приглашает зайти Катерину Ивановну, – к великодушию, когда она пришла. Так же круто переходит он от грубой чувственной захваченности к просветленной, бескорыстной, жертвенной любви к Грушеньке. И наконец, в тюрьме, углубившись в одиночестве, он дает итоговое определение спору узости с широтой: «Широк, слишком широк человек! Я бы сузил!».

Впрочем, начав говорить о Достоевском, трудно кончить. А между тем, образы, которые он создает, целиком относятся к XIX веку. Более древние пласты в них только просвечивают. А мы живем в эпоху, когда всплыли и самые древние пласты и весь цикл развития, начавшийся с Ивана IV и даже с Ивана Калиты, все переходы от косности культурной изоляции к конвульсиям смут и от конвульсий – к новой косности. В общей форме это описал Синявский, а Волошин, современник революции, – в притче о северо-восточном ветре:

«В этом ветре вся судьба России, Страшная, безумная судьба...»

Приведу только несколько строк поэтического видения, в котором вся история – одни судороги, без эпох косности, в которые обыватель, по словам Щедрина, обрастал шерстью:

Дикий бред военных поселений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Фаланстер, парадов и равнений,
Быль царей и явь большевиков.
Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах – дух самодержавья,
Взрывы революции в царях.

За «Северовостоком» последовал отклик Даниила Андреева – его «Размах», прославление всего, в чем выразилась русская воля, не признающая над собой никакого закона, от светлых взлетов до дикой жестокости. Однако в «Розе мира» взгляд Андреева уходит вглубь, в тайники народной души, растревоженной метаниями Ивана Грозного и не нашедшей успокоения в status quo ante, восстановленном Романовыми. Мне кажется, его понимание раскольников, шедших в огонь

срубов, чтобы не гореть в вечном огне, раскрывает одну из тайных сил истории XVII века.

Все эти прозрения Ольга Седакова не вспоминает. Ее разговор о Западе и Востоке ведется накоротке и играет скромную роль связки между фольклором и современностью, роль мостика над темной бездной истории.

Однако я взялся говорить об истории и мне трудно остановиться.

Какую-то последовательность в становлении характера великоросса можно наметить, опираясь на слова Г.П.Федотова о Москве как самом отатаренном из русских княжеств, о Москве как центре общего приспособления к власти Орды. Процесс этот начался еще до возвышения Москвы, с Александра Невского. Он выиграл пару пограничных сражений на северо-западе, а перед ханом стоял на коленях. Приходилось по одежке протягивать ножки. И первый это положение сумел использовать с выгодой для себя Иван Калита. Я думаю, что именно к нему в первую голову относится реплика Сокольского в «Подростке»: «мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж, конечно, потому, что и то и другое нам пришлось по вкусу» (ч. II, гл. 3). Иван писал доносы в Орду на своего соперника, тверского князя, а когда Михаил Тверской был вызван в Орду и там «умучан», Иван Калита на радостях ополчился на Тверь, вошел в город и увез, как трофей, колокол. Этой политике, видимо, следовал и другой князь, прозванный Темником, т.е. татарским генералом. Про Калиту и его последователей можно повторить сказанное Коржавиным в его «Вздорной оде»:

...Но ты глубже был патриот,
И побором сверх сбора дани
Подготавливал ты восход.
Славься, князь! Мы живем все так же,
Как придется, так и живем.
А в итоге прогресс...

Прогресс Москвы не мог, однако, обойтись без доблести. Доблесть досталась Дмитрию Ивановичу. Вмешавшись в споры татар между собой, он разбил Мамаю, но Тохтамыш, которому он помог, не поблагодарил его, и вторгся в Московское княжество, перебил 25 тысяч человек и заставил платить прежнюю дань. Церковное житие эту подробность обошло, но народ запомнил ее своей шкурой и песен про Дмитрия не пел.

Пел он о Грозном, за покорение Казани и Астрахани, за открытый путь русским удалцам на Восток. Каким образом этот мудрый правитель стал безумным садистом, песня не объясняет. Она просто не помнит этого. Возможно, гроза, обрушившаяся на головы бояр, даже нравилась, как сегодня – процесс Ходорковского. Но поход на свой же Новгород, потопление тысяч новгородцев в Волхове, массовые насилия над девками и женщинами? Все это оставалось за кадром – или принималось, как персидская княжна, брошенная в набежавшие волны Стенькой Разиным. Бедствия, вызванные татарским игом, заставляли любить и боготворить русскую силу. Сила сама по себе становилась высшим благом, даже если она творила зло. А из этого постепенно мог вырасти и культ зла.

«А холопей своих мы жаловать вольны есмы, а казнить их вольны же есмы», – писал Грозный Курбскому. «Казнить так казнить, миловать так миловать», – вторит ему Пугачев в «Капитанской дочке». В «Истории Пугачевского бунта» Пугачев другой. Но в Московском царстве не было позиции историка. То, что оставалось за кадром песни, сознавалось глухо, смутно, тяжело, снилось, как нашествие бесов на Русь. Смущение особенно усилилось после убийства наследника престола. Из смущения родилась душевная смута, из нее вышли смутьяны, раздувшие смуту политическую. С воцарением Бориса она только началась. К Борису липли темные легенды. Ему не прощалось и четверти того, что прощалось Ивану. На голове вчерашнего раба, татарина, зятя

Малюты венец плохо держался. Достаточно было тени Ивана Грозного, чтобы все зашаталось. Хотя трудно сказать, чего народ хотел. Народ уже тогда не был единым. Больше всего разгулялся тип, описанный Пушкиным в Пугачеве. Впоследствии Ленин сказал, что для истинного революционера революция и есть высший порядок; а для смутьяна высшим порядком была смута, разгул необузданной воли. Другой пушкинский тип, Савельич, принявший со смиренным достоинством участь раба, поддержал Минина с Пожарским. Третий тип отметил мимоходом Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год. Темный, не способный разобраться в собственной душе, недовольный собою и целым светом, он приходил домой, засовывал голову жены под половицу и сек ее вожжами, изо дня в день, пока несчастная не повесилась. Этот тип обычно не вспоминается при разговорах о русском характере, но именно он придает всем русским смутам оттенок тупого зверства.

В XIX веке казалось, что выход из духоты очередной вялотекущей смуты нашел Петр. Альтернативой смуты стали его реформы. Либералы, борцы за права человека, прощали Петру его жестокость, сравнимую с жестокостью Грозного. Прощали потому, что он рубил дорогу не в тупик опричнины, а в европейское царство свободы, основанное на законе, потому что он вывел Россию из культурной изоляции и открыл дорогу становлению русского европейца, создавшему гордость России – ее великую литературу.

Славянофилы возражали, что европейское царство закона узко для широкой русской души, что верхний слой, втянутый в Европу, слишком тонок и слишком далек от народа, в Европу едва заглянувшего, и т.п. Версиров, в романе, на который я уже ссылаюсь, признает всё сказанное, – но, по его мнению, игра стоила свеч. Нас всего тысяча, – говорит Версиров, – немного более или немного менее, но примерно тысяча. Однако эта тысяча сделала великое дело: она увидела Европу как целое, не разделившееся на французов, немцев, итальянцев, англичан, и сумела воплотить это общечеловеческое, это общеевропейское в своем творчестве...

Можно заметить, что индеец или китаец тоже воспринимает Европу как целое. Но при этом они остаются индийцем или китайцем, то есть оставались в стороне, а русский, благодаря размытости ориентиров в многослойной России, действительно становится русским общеевропейцем. В этом сила русской творческой широты, захватывавшая Достоевского. Версиров спрашивает самого себя, стоило ли создание русского общеевропейца нескольких веков и миллионов людей (он не договаривает – людей, загнанных в рабство) – и отвечает, что стоило. Читая Достоевского, Толстого, мы соглашаемся с ним. Но попав в водоворот очередной русской смуты, начинаем сомневаться...

Версиров говорит это о России. Здесь разрыв между «тысячью» творцов культуры и массой был пропастью (в которую «тысяча», в конце концов, и рухнула). Но и в западных странах, более прочно слаженных, были свои трещины, зашпаклеванные и отлакированные. За ними пряталась моральная расшатанность. Без этого допущения нельзя понять, как аккуратные немецкие «мальчики в штанах» (беру это выражение у Щедрина) вдруг, как по мановению волшебной палочки, зашагали с факелами в руках, распевая гимн смерти:

Воткнув еврею в глотку нож,
Ты скажешь: мир вдвойне хорош!

А между тем, этот гротеск истории был историческим фактом. По-настоящему крепким было только общество без выбора, общество строго предписанных ролей, с техникой каменного века, которую знал каждый, и такими же простыми мифами. Там зримым идеалом мальчика был отец, а девочки росли, чтобы повторить образ своей матери. Они знали это с малых лет и с младенчества готовились к строгому экзамену (мы называем это инициацией). На инициации надо было доказать свою стойкость, выдержку и тогдашнее нехитрое уменья и знания. Выдержав экзамен, юноши и девушки готовы были воспитывать следующее

поколение.

Переход к современному обществу шел через ступени кризисов, во время которых Хам иногда попирали все святые. Род укрощал его – или разваливался. Со временем Калибан (потомок Хама в более развитом обществе) дошел даже до идеи свободы (как дикой необузданной воли). В Средиземноморье свобода дважды понималась иначе, как царство закона. Республики держались несколько веков. Но непрерывной традиции свободы история не знает. Рано или поздно свобода выходила за свои рамки, уходила по касательной к незримому кругу духовной цельности, и после нескольких неудачных попыток устанавливался новый порядок, допускающий известное разнообразие в наборе предписанных ролей, с акцентом на семью (по Конфуцию), с втягиванием воинственных племен в систему каст (оправданной Бхагават Гитой) или сословное общество, где благородство обязывало, а Калибана заковывали в цепи.

Всех кризисов история не запомнила. Но осталась в памяти фигура Сократа, слушавшегося своего демона, и два великих создания литературы, возникших в начале XVII века: Гамлет и Дон Кихот. Они до сих пор остаются как вехи в культуре западных стран. Гамлетов и Донкихотов кризис толкал вглубь, к внутренней опоре. И вместо племенных и сословных характеров возникала личность, готовая поднять на свои плечи весь мир.

На первый взгляд, Гамлет и Дон Кихот – противоположности. Но у них гораздо больше общего (если сравнить эту пару с Фортинбрасом). Дон Кихот, с известными оговорками, мог повторить слова Гамлета:

Распалась связь времен.
Зачем же я связать ее рожден?

или, в более точном переводе:

Мир расшатался. И скверней всего,
Что я рожден восстановить его...

Оба видят расползающийся, рушащийся мир. Оба чувствуют себя одинокими в борьбе с нравственным хаосом. Тяжесть ответственности легла на плечи обоих. Только Гамлет с ужасом и сомнением воспринимает свою непосильную задачу, а Дон Кихот с восторгом и энтузиазмом освобождает каторжников. Недаром Тургенев написал статью «Гамлет и Дон-Кихот», имея перед своими глазами первых русских интеллигентов, бросившихся от глубины сомнений к штурму ветряных мельниц.

У меня был некоторый опыт в этом роде. Случайно встретившись с Петром Григорьевичем Григоренко, мы сразу почувствовали симпатию друг к другу, и я несколько раз побывал в его квартире возле Николы Хамовнического. Как-то раз, уходя, я подумал: Петр Григорьевич старается понять, чтобы действовать, а я иногда экспериментирую, – с известным риском, – чтобы понять. И поняв, – останавливаюсь. Я признавал правоту и за Григоренко, и за Аверинцевым, рыцарем культуры, говорившим, что культура нуждается в работниках, целиком посвятивших себя ей. Но карма, которую я накопил, не давала мне уложиться ни в гамлетовский тип, ни в донкихотский (хотя Гамлет был мне ближе). И Петр Григорьевич не укладывался в какой-то один тип. В его натуре было и действие, и созерцание, и осмысление. И мы прекрасно понимали друг друга. Я думаю, что гидальго, входивший в клетку ко льву, и датский принц, размышлявший, как вправить вывих времени, тоже поняли бы друг друга.

К концу XVII в. крупные фигуры исчезают из западной литературы. Мир как-то вошел в свои суставы, и люди снова стали будничнее. Казалось, что Гамлетов и Дон Кихотов больше не будет. Запад очень удивился, когда в русском романе вновь оказались герои, готовые взять на свои плечи

всю тяжесть вселенной. Постоянный кризис России вырывал людей из быта.

Особенно поразило то, что у Достоевского мировая неустроенность беспокоила самые пошлые натуры, переплетаясь с сочинением пасквилей и заботой, как бы достать двадцать пять рублей, прежде чем идти к любовнице. Если в трагедии Шекспира личность – только сам Гамлет, а его окружает свора пошляков, и единственный друг его – Горацио; если в сходном положении Дон Кихот, и за ним следует один лишь Санчо Панса на своем ослике, то друзьями Мышкина становятся и Лебедев, и Келлер, и даже Бурдовскому он не способен сказать, как Гамлет – «вы можете меня расстроить, но не играть на мне». Полуобразованность и полунравственность становится его постоянной собеседницей и разрывают князя на части.

Примерно во время Гамлета Монтень сказал, что хорошие люди–философы и хорошие люди–простые крестьяне, но все зло от полуобразованности. В романе Достоевского простых крестьян нет, а то, что Монтень назвал полуобразованностью, очень близко к русскому понятию пошлости. Двадцать пять лет тому назад, сочиняя «Акафист пошлости», я писал:

«История человеческой массы – это движение от грубости к пошлости. Дикарь груб. Цивилизованный человек, по большей части, пошл. Дикарь держит в голове всю свою культуру и не притворяется, что он следует Христу, любит музыку Баха и т.п. Он о таких вершинах просто не знает. А средний цивилизованный человек – самодовольный пошляк». Несколько ниже я еще раз поясню это трудное слово: пошлость – «нуль личности, потеря родовых образцов и попытка нуля функционировать как положительная или хоть отрицательная величина».

Эту глобальную формулу приходится уточнять в каждое время и в каждой стране. Запоздало-ускоренное движение «современности» на Восток и на Юг создало здесь зоны повышенной аморфности и повышенной опасности тотального «перевоспитания». С другой стороны, протестантизм с его установкой на прямой контакт христианина с Богом способствовал структуризации личности, хотя бы в элементарных формах. Однако протестантизм не спас Германию от Гитлера, а Т.С. Элиот, став католиком, не перестал быть либеральным консерватором. Как все это выходит, мы можем объяснить только задним числом, Пол Пот и Бин Ладен всегда неожиданны.

Закономерно только одно: чем сильнее движение к нравственной аморфности, тем сильнее и противостояние творческого меньшинства, чем упорнее движение в глубину Гамлетов и Донкихотов, тем отчетливее они чувствуют в своей глубине точку опоры. И это не предел. Еще глубже – «сильно развитая личность», как ее назвал Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы, к этому тянут нормально человека» (гл. 6, в П.С.С. – Т.6, с.79).

Правда, это только программа, – и программа, к которой вовсе не тянет «нормального» человека (если считать за норму что-то статистически среднее). Здесь слово «норма» – скорее идеал, совершенство, которым человек задуман Богом (и не осуществлен родителями – добавила Марина Цветаева). Во всяком случае – это только программа. Показал Достоевский только отрока новой породы, прекрасного, но не способного защищаться от пошлых страстей, окружающих его.

В канун величайшего взлета русской литературы эти пошлые страсти с великой силой были развернуты Гоголем. Его творчество – это парад мертвых душ. И вся дальнейшая русская литература – усилие преодолеть силу пошлости. И то, что Достоевскому уже мало Гамлета и Дон Кихота, что ему нужна сильно развитая личность, – это действие, равное противодействию. Он не только дерзает нарисовать, хотя бы в намеке, очертания Сына Человеческого; он ищет движение к

сильно развитой личности в самой пошлой пошлости. Захваченность мировыми проблемами, которая у Шекспира, у Сервантеса – достояние главного героя, у Достоевского пропитывает весь роман. Хотя пошлость, как правило, самодовольно сознает себя нормой и не страдает от своей аморфности, не мучается в «подполье». В этом смысле роман Достоевского – болезненное чтение для некоторых читателей.

Зато все меняется в эпохи исторических кризисов. Тогда пошлость теряет свое самодовольство. Взбаламученная, она хамеет, аморфность ее кипит и прорывается сквозь лакировку. Она ищет вождя, который «знает, как надо» и ищет козла отпущения, чтобы растерзать его в жертву богам. Смердяков беспомощен, пока не знает, всё ли позволено. Но вот волшебное заклинание сказано. Всё позволено. И тогда смердяковщина разбухает, силы ее растут в десять, в сто раз. Тогда Павел Федорович Смердяков, не дрогнув, убьет отца. Тогда он и шесть миллионов пустит в расход, а если надо – и шестьдесят. И вдруг – сам вождь усомнился, заколебался. Сам вождь потерял свое знание, как надо. И Смердяков сморщивается, как шарик, из которого вышел воздух, как Сталин 22 июня 1941 г., и готов повеситься, чтобы никого не винить.

Лаком Германии до 1914 г. был миф о ее высокой культурности. Русские дыры лакированы были мифом о святой Руси, могучей в своих немощах. Но после февральской революции 90% солдат не пришли к причастию, а после Октябрьской – все 99% (эти цифры взяты у Деникина). Значит, всего 1% готов был умереть «за Русь святую и за нее пролить кровь молодую» – больше офицеров и гимназистов, чем солдат. Взбаламученность и аморфность была во сто раз многочисленнее, чем решимость отстоять империю. А в Германии, в 1933-м, усталость от войны уже забылась, и взбаламученность рванулась в другую сторону – к новой войне, к мести союзникам, загнавшим немецкий народ в тупик. За шесть лет (с 1933 по 1939) вчерашние безработные, павшие духом от голода, стали вермахтом, одушевленным волей к победе, и зашагали по Европе, по России... Зиг-хайль, зиг-хайль... Но у ворот Москвы ударили морозы. Ничего, весной снова стало тепло – и снова зиг-хайль... Но Россия велика, фронт растянулся, превратился в Ахиллеса, у которого пятки всюду (румынские, итальянские), а между тем, за два года мы, ополченцы, заменившие регулярные войска, научились воевать, – и немцы очнулись у разбитого корыта.

На первый взгляд, Германии в 1945 году было хуже, чем России в 1991-м. Заводы лежали в развалинах, администрация – в руках победителей... Оставалось разбирать груды камней и каяться в своих грехах. Но структура немецкой экономики не была изуродована так, как советско-русская. Но все церкви Германии объединились в призыве к покаянию и труду. Но кадры старых политических партий уцелели, они не вымерли за 12 лет, и их не расстреливали. Нашлись старые опытные политики, которым победители могли поверить, как в своих союзников. Наконец, в Германии не было ликвидировано крестьянство. Эта идиотская идея Гитлеру не приходила в голову.

И вот все политические силы и все духовные силы, внешние и внутренние (включая речи Элиота к немецкому народу) дружно взялись за промывание мозгов бывших нацистов. Вместо культа Гитлера был создан культ героев Сопротивления. И аморфная масса за несколько лет стала демократической, и Германия – из самой бедной – самой богатой в Европе.

А в России разворачивалась вяло текущая смута. Коммунистический режим распался сам собой, как подгнивший гриб. Интеллигенции, способной объяснить, что случилось, и церкви, способной вдохновить к покаянию, не осталось, все великие головы давно были срублены. Советский режим после Сталина смягчился, но не переставал изводить или выталкивать за рубеж всех, способных создать альтернативную администрацию, альтернативную идеологию, альтернативную экономику, структурировать бурлящую массу. В нарастающей смуте победило то, о чем в 1936 году писал Троцкий: сталинская номенклатура захочет превратить свои привилегии в частную собственность. Старики колебались. Но младшие, комсомольские кадры с энтузиазмом взялись за дело, объединились с теневой экономикой – и «рашидовщина», которой Горбачев объявил войну,

одержала победу. Режим Ельцина не справлялся с положением. Народ бедствовал. И уцелевшее крыло старого режима, охрана, почувствовало себя единственной силой и стала подбирать власть и собственность под себя. Прикрываясь обрывками изношенных старых идей, она навела внешний порядок. Аморфная масса, называемая народом, приняла это с благодарностью и мечтает о новом Сталине, который раскулачит олигархов и поделит их миллиарды поровну, по сто евро на брата.

Увы, от перехода части капиталов в руки чиновников бедняки не стали богаче, а чиновники менее наглыми. Вместо организованного капитализма, сотрудничающего с профсоюзами, у нас воцарился дикий, бандитский капитализм. Никому он не мил, но как изменить положение? Как довести аморфную массу полуобразованности до кристаллизации в здоровое общество, в общество с некоторыми первыми шагами личностного развития? Можно ли надеяться, что через одно-два поколения молодежь устанет от цинизма и потянется в глубину, о которой сегодня и знать не хочет? Никаких гарантий история не дает, но надежда умирает последней. И надо идти навстречу этому движению, сегодня ничтожно слабому, не дожидаясь политических решений и не рассчитывая на них. Наше будущее – в реабилитации любви (о которой писал Пришвин), в школе, где учитель любит детей и дети любят учителя, в создании книг и картин – вроде тех, которые помогли мне когда-то в эпохи больших и малых волн террора. Возможно, крупнейшая роль достанется самому массовому искусству – кино. И если Бог нам поможет, эта работа принесет свои плоды. Подлость не всегда сильнее доблести.

Во всяком случае, русская культура петербургского периода – луковка, которую Петр может предъявить на страшном суде истории. Я вспоминаю легенду, которую Грушенька рассказывает Алеше Карамазову. Злая барыня, попав в ад, просит милосердия. За какое доброе дело? – спрашивает Ангел. – Луковку нищему подала! Ухватившись за луковку, барыня начала карабкаться вверх; тут за ноги ее ухватились другие грешники, барыня обозлилась, и луковка оборвалась. В буддийском аналоге легенды разбойник просит милосердия у Будды. Доброе дело, на которое он ссылается, – паучка поднял с дороги и отнес в траву. Будда с седьмого неба протягивает паутинку, – и дальше все как в рассказе Грушеньки. И луковка, и паутинка спасут того, кто будет молиться за тех, кого любит, за подобных себе, за несчастных и т.п. Вплоть до всех народов, как Силуан; в меру своей любви, но никого не отталкивая, кроме дьявола. Иначе паутинка порвется, луковка порвется. Даниил Андреев видит луковку в руках многих государей и революционных вождей. В поэме «Изнанка мира» он помещает их в преисподнюю, но с надеждой, что в конце истории у них останется возможность спастись. Только Сталину он навечно оставляет одно измерение пространства и никакого времени.

Я согласен с его приговором. Я не вижу у Сталина никакой луковки. Конвульсия 1917 года, начавшая переходить в нормальное дыхание НЭПа, была продолжена Сталиным в 1929 году и далее в целую серию разрушительных судорог, целую серию пирровых побед.

Сталин победил крестьянство и загнал его в колхозное рабство. Итогом был развал сельского хозяйства. Сталин победил интеллигенцию, уничтожил часть ее физически, превратил оплаченную верхушку в своих холоуев. Итогом был глубокий упадок культуры. Развивалась только подготовка ко второй, а затем к третьей мировой войне, к счастью, не состоявшейся.

Сталин, натолкнувшись на сопротивление в собственной партии, организовал убийство Кирова и под предлогом борьбы с пятой колонной разгромил, накануне второй мировой войны, весь партийный, государственный, хозяйственный и военный аппарат. Итогом были катастрофические поражения 1941-1942 гг. А когда ошибки Гитлера, русские морозы и русские просторы позволили нам, ценой страшных потерь, перейти в контрнаступление, присвоил себе все победы и использовал их для создания нежизнеспособной системы господства над Восточной и Центральной Европой. Эта система, имевшая смысл только как плацдарм для еще одной войны, стала бессмысленной, когда появилось атомное оружие. Центрально-административная экономика не могла выдержать соревнования в условиях мира и не могла не рухнуть.

Индустриализация, проведенная большевиками-строителями, впоследствии расстрелянными, но до конца уверенными, что строят всеобщее счастье, – уперлась в тупик из-за разгрома передовых наук (генетики, кибернетики и других). Итогом было безнадежное отставание в эпоху НТР.

Трудно сказать, какая из пирровых побед Сталина была роковой. Общий след Сталина – мертвый след. Разрушена связь между политикой и культурой. Неоткуда взяться новым лидерам, способным совершить необходимый поворот – нравственно-политический, нравственно-экономический (восстановление доверия в мире бизнеса), нравственно-религиозный (восстановление свободы совести). Без глубокого нравственного сдвига, без понимания, что культ Сталина – это культ дьявола, без освобождения от пятен сталинской мерзости в нас самих, Россия, как великая культура, не возродится. Статья Ольги Седаковой в очередной раз поставила этот вопрос. Я попытался продолжить разговор. Надеюсь, что разговор на этом не оборвется.